
Тень Петроградского волка
Владимир Кожедеев

Исторические детективы

Владимир Кожедеев

Тень Петроградского волка

«Автор»
2026

Кожедеев В.

Тень Петроградского волка / В. Кожедеев — «Автор», 2026 — (Исторические детективы)

Петербург, 1910 год. Надворный советник Арсений Барятинский — лучший сыщик империи, человек, поднявшийся с самого дна: бывший беспризорник из шайки карманников, ученик рижского детектива, гроза варшавских маньяков. Ему поручают дело об убийстве государственного курьера и похищении бриллианта «Голубой Нил». Но заурядное, на первый взгляд, расследование оборачивается лабиринтом, где каждый шаг — ловушка, каждое лицо — маска, а единственный, кому можно верить, — рыжеволосая аптекарша с насмешливым ртом и глазами, читающими шифры быстрее, чем рецепты.Но их союз становится мишенью. Анонимный шантажист, скрывающийся под кличкой «Медведь», подбрасывает поддельные фотографии террористического прошлого Сони, сажает Барятинского в тюрьму по ложному обвинению в поджоге, а затем ставит ультиматум: ключи от оружейного склада в Кронштадте — в обмен на жизнь жены.От Лиговских трущоб до мраморных лестниц княжеских особняков, от воровских гласмов до канцелярий Департамента полиции — Барятинский...

© Кожедеев В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Смерть курьера. 5
Глава 2. Кольцо и Лиговка. 11
Глава 3. Платок на брусчатке. 17
Глава 4. Волчья свора. 23
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Владимир Кожедеев
Тень Петроградского волка

Глава 1. Смерть курьера.

Ноябрь в Петербурге — это не время года, а приговор.

Сырость проникает сквозь шинель, сквозь мундир, сквозь кожу — до самых костей. Мелкий ледяной дождь, который местные городовые называли «богоданной моросью», начинался всегда без предупреждения и заканчивался через три дня, когда уже не помнишь, каким бывает небо без этой свинцовой простыни.

Надворный советник Арсений Владимирович Барятинский стоял у подъезда доходного дома номер 18 по Надеждинской улице и тушил о каблук третью папиросу подряд. С тех пор как его подняли с постели в четыре утра, прошло уже четыре часа, а он всё ещё не решил для себя главного вопроса: кто убил курьера?

— Ваше благородие, — подбежал раскрасневшийся околоточный с повадкой выдрессированной собаки, — городовой у чердака обнаружил ещё один вход. С чердачным ключом. Следы свежие.

— Чёрт с ними, со входами, — голос у Барятинского был низкий, с хрипотцой человека, который курит больше, чем дышит. — Где хозяин квартиры?

— В седьмом номере изволите спрашивать? Так его нету. Третьего дня уехал в Москву. Квартиру снимает некая госпожа Челищева. А госпожа Челищева...

— Что — госпожа Челищева?

— В истерике, ваше благородие. Уже второй час. Фельдшер ей валерьянки дал, а она знай заламывает руки и всё «миленький, да родненький». Причём так, будто покойника знала более чем шапочно.

Барятинский усмехнулся одними уголками губ.

— Это интересно. Курьер министерства путей сообщения третьего класса Ефим Саенко, двадцати восьми лет от роду, холост, из мещан города Могилёва — и вдруг «миленький» от дамы, которая снимает квартиру за четыреста рублей в год. Или здесь не только железные дороги, или я не выучился читать по губам.

— Как прикажете понимать?

— Никак не прикажу. Я сам разберусь.

Он отбросил окурок в лужу, где тот зашипел и погас, и шагнул в подъезд.

Запах ударил в нос сразу — на лестничной клетке второго этажа. Запах тяжёлый, сладковатый, какой бывает в дешёвых моргах на окраине, когда летом и денег на лёд не хватает. Но здесь, в доходном доме с мраморными подоконниками и вензелями на дверях, этот запах казался ещё более неподобающим — как покойник за праздничным столом.

Квартира номер двенадцать находилась в конце коридора. Дверь была дубовая, с английским замком — дорогая работа, каких в Петербурге делали всего три мастера. Барятинский отметил это про себя, но не вслух. У дверей топтались двое городовых с винтовками наперевес и один судебный следователь — господин Штольц, известный педант в бакенбардах, который уже успел натянуть стерильные перчатки.

— Надворный советник, — Штольц кивнул сухо, без обычного чиновничьего подобострастия. Штольц не любил Барятинского — считал его выскочкой, который лезет в чужую епархию. — Я не ждал сыскную полицию так скоро. У нас здесь судебное производство, а не ваш...

— А мой что? — перебил его Барятинский, не повышая голоса, но так, что Штольц вдруг поперхнулся.

— Ничего. Проходите. Только не топчите улики.

Они вошли.

Прихожая была тесной, оклеенной тёмно-зелёными обоями с золотыми лилиями — рисунок, который был моден пять лет назад, а теперь казался старомодно-богатым. В углу стояла вешалка из оленьего рога — кричащая, провинциальная, за сто рублей. На ней висело чужое пальто. Своё — курьерское, форменное, серого сукна — валялось на полу в луже растаявшего снега.

— Пальто не тронули? — спросил Барятинский.

— Нет. Как нашли, так и лежит.

— И кто нашёл?

— Уборщица, Марфа Никитична. Пришла в семь утра мыть полы, дверь в прихожую была приоткрыта. Она заглянула, увидела ноги в коридоре и побежала к дворнику.

— А что дверь? Взломана?

— Нет. Открыта ключом.

— Значит, убийца имел ключ. Или покойник сам его впустил.

Барятинский перешагнул через порог и вошёл в гостиную.

Здесь находился сам труп.

Курьер лежал спиной на персидском ковре, раскинув руки — поза неестественная, словно его бросили, а он попытался встать и не смог. Лицо было страшным. Не от ран — ран на теле не было вовсе, — а от выражения: застывшая гримаса ужаса, смешанного с удивлением. Глаза открыты, зрачки расширены до предела. Рот перекошен, будто в последний миг он хотел крикнуть, но воздух уже не шёл.

— Цианистый калий, — произнёс Барятинский, не спрашивая. — Яд попал в ротовую полость. Не в еду, не в питьё. Вероятно, с капсулы, которую он разгрыз. Или ему влили силой. Где следы борьбы?

— Нет следов борьбы, — Штольц поправил бакенбарды. — Ковёр не сдвинут, стол не опрокинут. Даже рюмка на столе стоит.

Барятинский обошёл тело по периметру, не наступая на ковёр. Внимание его привлекли руки покойника: правая сжата в кулак, левая разжата и неестественно вывернута. Он достал из кармана чистое носовое платок, присел на корточки и осторожно разогнул пальцы правой руки.

В ладони лежал перочинный нож. Дешёвый, с костяной ручкой, потёртой до блеска. Лезвие было сломано — ровно посередине, будто ножом пытались что-то поддеть и лезвие не выдержало.

— Это не его нож, — сказал Барятинский.

— Откуда вы знаете? — нахмурился Штольц.

— Потому что его нож, которым он резал хлеб и чинил перья, лежит в кармане его пальто в прихожей. Я заметил, когда входил: оттопыренный карман, там круглая выпуклость — складывается в рукоять обыкновенного дорожного ножа. А этот, — он поднял платок с обломком, — дамский. Им открывают письма. Утончённая работа, на лезвии — гравировка. Посмотрите.

Штольц нагнулся, прищурился. Гравировка была неразборчивой — то ли инициалы, то ли вензель.

— Передайте в лабораторию, — велел Барятинский, аккуратно заворачивая улику. — И отметьте в протоколе: нож принадлежал не покойному. Сломали его, когда убийца вырывал что-то из его руки. Возможно — конверт. Или маленький предмет. Покойник успел вцепиться в вещь, убийца вырвал её, нож сломался и остался у жертвы.

Повисла тишина. Даже Штольц, который при всём своём педантизме относился к Барятинскому с неприязнью, сейчас промолчал. Потому что версия была железной.

— Теперь воздух, — сказал Барятинский. — Вы чувствуете?

— Что — воздух?

— В прихожей пахло сыростью и старыми обоями. В гостиной — трупом. А здесь, между ними, в дверном проёме?

Штольц подошёл, принюхался. Потом ещё раз.

— Миндаль, — произнёс он удивлённо. — Горький миндаль. Но это же...

— Цианид, — закончил Барятинский. — Убийца нанёс яд на что-то, что покойный поднёс ко рту. Или впрыснул. Но самое интересное не это. Самое интересное — запах миндаля смешан с другим запахом. Чувствуете?

Штольц вытянул нос. Его лицо изобразило сложное усилие, а потом — удивление.

— Ваниль, — выдохнул он. — Духи с ванилью. Женские?

— Или мужские. Некоторые одеколоны от Аткинсона имеют ванильные ноты. Но я склоняюсь к тому, что это была женщина. Или мужчина, который хотел, чтобы мы подумали на женщину.

Барятинский выпрямился, потёр переносицу.

— Кто ещё был в квартире до нас, кроме городовых и вас?

— Пристав, фельдшер, уборщица и госпожа Челищева из седьмого номера. Она прибежала на крик уборщицы. Утверждает, что не входила в гостиную, только заглянула.

— А она говорит правду?

— Валерьянка говорит? — Штольц пожал плечами. — С ней работает ваш коллега — частный пристав Батуев. У него талант выпытывать правду у истеричных дам.

— Батуев здесь?

— В другой комнате. Допросил госпожу Челищеву и теперь пишет протокол.

Барятинский одёрнул мундир и направился в соседнюю комнату — маленькую гостиную, заставленную фикусами в кадках и безвкусными фарфоровыми статуэтками.

Госпожа Челищева оказалась женщиной лет тридцати пяти, полной, с лицом, которое когда-то было красивым, а теперь казалось оплывшей свечой в дешёвом подсвечнике. Она сидела на кушетке, обеими руками сжимая стакан с мутной жидкостью, и на её коленях лежал вышитый платок — уже полностью мокрый от слёз. Но Барятинский, который за годы службы научился отличать горе от актёрства, сразу понял: слёзы эти были настоящими.

Рядом с ней сидел частный пристав Батуев — мужчина лет сорока с лицом бульдога и манерами провинциального трактирщика. Увидев Барятинского, он поднялся и поклонился с той смесью уважения и настороженности, которую сыщик привык видеть на лицах местных чинов.

— Ваше благородие. Допросил. «Показания вот», —он протянул лист бумаги, исписанный убористым почерком. — Только... странные показания.

— Что именно странное?

— Госпожа Челищева утверждает, что не знала покойного. Слышать о нём не слыхивала. А при этом называет его по имени — Саенко. И когда уборщица закричала, она не спросила «кто там?», а сказала «боже, Ефим!»

Барятинский взял лист, пробежал глазами, потом отложил в сторону и подошёл к женщине вплотную.

— Госпожа Челищева.

Она подняла на него заплаканные глаза. В них было что-то, что он уже видел раньше, в рижских трущобах и варшавских притонах: страх человека, который уже приготовился ко лжи и поэтому врёт плохо.

— Голубчик, — пролепетала она, — я ничего не знаю. Я спала. Услышала крик, выбежала в халате, а там... там...

— Госпожа Челищева, — повторил он спокойно, садясь напротив неё на стул. — Ефим Саенко мёртв. Его убили. Если вы не расскажете всё, что знаете, вы станете подозреваемой. А подозреваемую в убийстве государственного курьера не допрашивают в уютной гостиной с валерьянкой. Её везут в Шпалерную. Там холодно, темно и очень долго ждут суда. Вы этого хотите?

Женщина задрожала. Стакан задребезжал о блюдце.

— Но я правда ничего... Я не...

— Как вы познакомились с Ефимом?

Пауза была долгой, тяжёлой. Госпожа Челищева перевела взгляд на Батуева, потом на Штольца, стоявшего в дверях, потом снова на Барятинского. И сдалась.

— Мы... познакомились в прошлом месяце. На Садовой. Он подошёл, спросил, который час. Я сказала. А он... он улыбнулся. Господи, как он улыбался! — слезы хлынули с новой силой. — Мой муж уехал в Москву полгода назад и не пишет. А я здесь одна. И Ефим...

— Что хотел Ефим? — голос Барятинского стал мягче, но не терял металлической нотки.

Она всхлипнула.

— Он говорил, что я красивая. Говорил, что приедет ко мне в гости. И приехал. Три раза. Мы... мы пили чай. Он рассказывал о своей службе — возит важные бумаги. Гордился этим. А потом неделю назад он пришёл и сказал, что ему дали задание особой важности.

— Какое задание?

— Не сказал. Только сказал, что если всё получится, то получит чин и уйдёт со службы. И тогда мы уедем в Могилев, к его матери. Он говорил, что у его матери есть дом и куры, и я буду там как у Христа за пазухой.

Барятинский слушал не перебивая. В голове у него складывалась картина: бедный курьер, глупая одинокая женщина, обещания светлого будущего — всё это было слишком банально. Но что-то не сходилось.

— Вы сказали, что он пришёл вчера вечером?

— Да. Около девяти. Я была у себя, услышала звонок — он был внизу, у чёрного хода, чтобы не видела дворничиха. Я впустила его. Он прошёл в вашу, то есть в эту квартиру?

— В двенадцатую. Он сказал, что у него здесь дело. Сказал, чтобы я ждала его у себя. И ушёл. А через час я услышала шум — что-то упало. Я подумала — Ефим что-то уронил. Не пошла проверять, потому что... потому что боялась, что он рассердится.

— Он был вспыльчив?

— Нет. Он был... он был ласковый. Но иногда, когда я спрашивала про эти дела... он злился. Один раз даже ударил меня по руке, — она машинально потёрла запястье. — Я заплакала. А он потом целовал мои пальцы и просил прощения. Говорил, что на службе нервы ни к чёрту. Говорил: «Соня, родная, прости дурака».

Барятинский замер.

— Соня? Он называл вас Соней?

— А меня так и зовут. Софья Павловна Челищева.

— Понятно, — медленно произнёс сыщик. — Понятно.

Он встал, прошёл к окну, прижался лбом к холодному стеклу. За окном моросило, и на Невском уже зажглись газовые фонари, их свет расплывался в тумане оранжевыми пятнами.

— Что вам ещё известно о его делах? — спросил он, не оборачиваясь.

— Он говорил... он говорил про какой-то камень. «Голубой». Сказал, что увидит его вблизи один раз в жизни и что этот камень стоит больше, чем все дома на нашей улице. Я подумала — бредит. Откуда у курьера камень?

Барятинский резко обернулся.

— Больше он ничего не говорил про камень?

— Нет. Только это. И ещё... он какой-то странный был вчера. Светился весь. Говорил: «Соня, через неделю мы будем королями». Я засмеялась, а он обиделся. Сказал: «Ты не смейся. Такие, как я, с пустым карманом, а потом раз — и выплывают». И ушёл.

— Ключи у него были от этой квартиры?

— Был один ключ. Он сказал, что ему дали на время.

— Кто дал?

— Не сказал. Только махнул рукой: «Люди с деньгами, Сонечка. Им пропадать нечем, а нам — сам Бог велел».

В этот момент в комнату вошёл городовой с лицом, на котором было написано «ваше благородие, я не виноват, но случилось нечто».

— Докладываю, ваше благородие. На чердаке обнаружен второй вход. Ключ был оставлен в замке с внутренней стороны. Крыша выходит на соседний доходный дом, там стройка. Можно перебраться по лесам.

— Следы?

— Мужские, сорок второй размер, подошва с крупным протектором — боты английские, такие на петербургских рынках не продаются. Следы ведут вниз по чёрной лестнице, теряются во дворе.

— Множественное число? Следов много?

— Трое, ваше благородие. Двое шли в одном направлении, третий — в другом. И ещё... — городовой замялся.

— Что — ещё?

— На лестнице найдена вот эта вещь.

Он протянул Барятинскому маленький предмет, завёрнутый в клеёнку. Сыщик развернул.

Это был дамский перстень с маленьким аметистом в обрамлении из дешёвого серебра. Обычная бижутерия — таких по Петербургу тысячи. Но на внутренней стороне кольца была гравировка: «А.Б. от С.Г. 1909».

Барятинский побледнел. Он узнал эти инициалы. Узнал почерк гравировщика. Узнал даже царапинку на камешке, которую оставил, когда уронил это кольцо в ванной год назад.

Это было кольцо, которое он подарил своей жене прошлой зимой.

— Чья вещь? — спросил Штольц, заглядывая ему через плечо.

— Неизвестно, — голос Барятинского был ледяным спокойствием, за которым скрывалась пропасть. — Отправьте в лабораторию. Срочно.

Он сунул кольцо в карман — украдкой, чтобы Штольц не заметил, как дрожат его пальцы. Потом повернулся к окну и замер, глядя на своё отражение в тёмном стекле.

Параллельная история — его собственная история — только что врезалась в это дело, как поезд в стену. Потому что его жена, Софья Гиршфельд-Барятинская, носила точно такое же кольцо. И он видел его на её пальце вчера вечером, когда целовал руку перед сном.

А сегодня утром, когда он уходил на службу, кольца на её руке не было.

— Ваше благородие, — окликнул его Батуев, — вы позволите допросить дворника?

— Позволю, — Барятинский не обернулся. — Допросите всех. И уборщицу ещё раз. И госпожу Челищеву проверьте — кто она, откуда, на какие деньги снимает квартиру. И найдите мне коляску. Я поеду в департамент.

— А что с телом?

— А с телом как положено: в морг. Вскрытие сегодня же. Мне нужен анализ содержимого желудка и точное время смерти.

Он наконец развернулся, посмотрел на труп, на заплаканную Челищеву, на суетящегося Штольца, на городовых, замерших по стойке смирно. Всё это было делом. Холодным, вязким, привычным делом.

Но в кармане у него лежало кольцо жены, и от этого кусочка серебра исходил жар, словно Барятинский держал в руке не украшение, а уголёк из собственного камина.

«Соня, — подумал он. — Что ты натворила?»

Час спустя он уже сидел в пролётке, натягивая воротник шинели от мелкого дождя, и смотрел, как доходный дом 18 по Надеждинской медленно уплывает назад, в сырую мглу петербургского утра. В голове его не было плана. Был только вопрос — один-единственный, который приходил в тишине между ударами копыт о мокрую брусчатку.

Ответа у него не было.

Но он знал одно: прежде чем он найдёт убийцу курьера, ему придётся найти истину о собственной жене. И в этой правде, какую бы форму она ни приняла, не будет ничего сладкого.

Глава 2. Кольцо и Лиговка.

До департамента Барятинский не доехал.

Он просидел в пролётке ровно до первого перекрёстка — там, где Надеждинская пересекается с Лиговским проспектом. И велел остановиться.

— Дальше пешком, — бросил извозчику, сунул двугривенный и выпрыгнул на мостовую.

Извозчик хотел что-то возразить — дождь усиливался, ветер дул с Невы по-ноябрьски злой, — но Барятинский уже шёл вперёд, не оглядываясь, и в его походке не было ни спешки, ни цели. Было только одно: ноги сами несли его туда, где он не был пятнадцать лет.

На Лиговский проспект.

Он и сам не понял, зачем сюда пришёл. Было ещё раннее утро — часов девять, — но проспект уже жил своей привычной, суетливой, грязной жизнью. Толклись торговки с корзинами мёрзлой клюквы. Ползли ломовики с дровами. Из распахнутых дверей ночлежных домов тянуло кислой капустой, махоркой и человеческим потом — запахом, который невозможно забыть, если ты однажды вдохнул его полной грудью и понял: это твой дом.

Барятинский остановился у дома № 37 — старый трёхэтажный доходный дом с облупившейся штукатуркой и выбитыми окнами в подвале. Здесь когда-то была ночлежка купца Еремеева. Здесь мальчишка по кличке Червяк, которого потом назовут Арсением Барятинским, учился выживать.

— Пятнадцать лет, — тихо сказал он вслух. — А пахнет так же.

Из подворотни выскочила орава оборванцев лет по десять — маленькие, тощие, с быстрыми глазами и грязными лицами. Они носились с жестяной банкой, изображая то ли войну, то ли игру в панкратион. Один, рыжий и веснушчатый, вдруг споткнулся, упал, рассек коленку и заорал — не от боли, а от злости: «Чёртов камень!»

Барятинский посмотрел на него, и что-то внутри перевернулось. Или не внутри — где-то глубже, там, где человек прячет свои обиды до самого последнего дня.

Он отвернулся, присел на корточки у стены, достал папиросу, но закуривать не стал — покрутил в пальцах, размял табак, понюхал. И закрыл глаза.

Память нахлынула — не постепенно, а сразу, как ледяная волна в Кронштадтской гавани, когда падаешь с пирса и не можешь вздохнуть.

1888 год. Лиговский проспект, Петербург.

Тогда здесь было ещё грязнее.

Октябрь. Арсению — нет, тогда просто Арсюшке, сыну сосланного инженера Владимира Барятинского и умершей от чахотки Елизаветы Петровны — шёл одиннадцатый год, но выглядел он на восемь: тощий, с прозрачной кожей, с глазами, которые научились не плакать, даже когда бьют. Он жил в подвале дома № 37 уже третий месяц, с тех самых пор, как мать зарыли на Смоленском кладбище — без отпевания, без креста, потому что у сына не было на свечку даже пятака.

Себя он называл тогда Червяком. Так его никто не звал — просто все остальные клички были заняты: Косой, Пузырь, Сопля. Червяк подходил больше всего — маленький, серый, забившийся в щель между жизнью и смертью с единственным талантом: он умел быть незаметным.

— Эй, Червяк! — окликнул его голос с галереи второго этажа.

Арсюшка поднял голову. На галерее стоял Крест — глава местной шайки карманников, мужчина лет сорока с лицом, которое даже в темноте казалось рябым от оспы. На шее у него висел медный крест на грязной ленте — откуда и кличка. Поговаривали, что Крест был когда-то послушником в монастыре, но выгнали за буйство нрава и любовь к горячительным.

— Подь сюды, — махнул пальцем Крест, сжимая в другой руке полуштоф с водкой. — Дело есть.

Арсюшка поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж, в комнату, которую шайка именовала «малиной». Здесь пахло дешёвым табаком, прокисшими щами и опасностью. На полу — тюфяки, в углу — сундук с краденым, на столе — оплывший огарок свечи.

— Смотрю я на тебя, Червяк, — Крест налил водку в гранёный стакан без донышка (дно выбили ещё год назад, пили через край), — и думаю: либо ты сдохнешь к зиме, либо станешь человеком. Хочешь стать человеком?

— Хочу, — голос у мальчика был хриплым, почти взрослым. От голода.

— А что для этого надо?

— Чтоб вы меня научили.

Крест усмехнулся, обнажив гнилые зубы. В усмешке не было злости — было одобрение.

— Башковитый. Ладно. Завтра идёшь со мной на дело. Возьмём генерала, который каждый вечер в «Вену» ходит. Пьянь, при деньгах, табакерка у него серебряная с яхонтом. Запомни: ты — самый маленький и незаметный. Ты толкнёшь его в толпе, а я сниму табакерку. Если что — ты падаешь и орёшь. Понял?

— Понял.

— Повтори.

— Я толкаю, снимаете вы. Если что — я падаю и ору.

— Молодец. Иди жрать, там в углу ломоть хлеба с салом.

Это был первый раз в жизни, когда Арсюшка ел сало. Он запомнил вкус на всю жизнь — горьковатый, с прослойкой, тающий на языке. Сейчас, сидя в ресторанах с коллегами по сыскной полиции, он никогда не заказывал сало. Просто не мог. Потому что идеальный вкус был однажды — в детстве, перед тем как всё рухнуло.

На следующий день около шести вечера они стояли у входа в ресторан «Вена» на углу Невского и Малой Морской. Генерал — грузный мужчина в шинели с бобровым воротником — вышел ровно в половине седьмого, слегка пошатываясь, и направился к пролётке.

— Сейчас, — прошептал Крест и толкнул Арсюшку в спину.

Мальчик рванул вперёд, врезался в генеральское брюхо, ухватился за рукав шинели, заорал истошным голосом, как учили: «Дяденька, дяденька, мамка помирает, помогите, Христа ради!»

Генерал охнул, пошатнулся, инстинктивно схватился за карман — там, где лежала табакерка. Но Крест уже работал. Быстрым, отработанным движением он вытянул серебряную коробочку, сунул в рукав. Генерал ничего не заметил, отпихнул мальчишку: «Пошёл вон, сопляк!»

Всё шло по плану. Арсюшка отбежал в сторону, Крест растворился в толпе. Успех. Первый успех в жизни. Сердце колотилось так, что он боялся — сейчас выпрыгнет из груди и покатится по булыжникам.

Но на углу Литейного мальчишка споткнулся. Просто споткнулся — о выбоину в мостовой, которых здесь было как звёзд на небе. Он упал, больно ударился коленями, а табакерка, которую Крест успел ему сунуть (на случай, если погоня), вылетела из-за пазухи и покатилась по камням — серебряная, блестящая, с яхонтом, который засверкал в свете фонаря как капля запёкшейся крови.

— Держи вора! — заорал генерал, который почему-то оказался сзади.

Арсюшка вскочил, попытался бежать, но ноги не слушались. Его схватили двое городовых. Потом прибежал генерал, побагровевший от ярости, и начал бить. Бил ногами: в живот, в лицо, в пах. Арсюшка свернулся калачиком, прикрыл голову руками, как учила мать перед смертью: «Если бьют — закрывай голову, сынок. Голова — самое важное».

Последнее, что он запомнил перед тем, как потерять сознание, — блеск яхонта на серебряной табакерке, которую поднимал с земли генеральский лакей. И чей-то голос: «Забирайте в участок. Сгноим».

Но в участок его не забрали. Потому что Крест — рябой, пьяный, страшный Крест — откупил его у генерала за двадцать рублей и дал пощёчину, от которой мальчишка полетел в лужу.

— Ты, червяк, — прошипел Крест, — не спотыкайся больше. Умей падать так, чтобы не было больно. Или сдохнешь.

Арсюшка лежал в грязи, разбитый, униженный, и всё же живой. И в этот момент, в этой вони мочи и конского навоза, он понял главное — то, что определило всю его жизнь.

Воровать — глупо. Потому что вор всегда боится и бегает. А гораздо выгоднее — ловить воров.

Эта мысль пришла не умом — она пришла где-то в солнечном сплетении, больная и острая, как удар генеральского сапога. И засела там навсегда.

Отлеживаясь в углу малины — рёбра были сломаны, левый глаз не открывался три дня, — мальчик подружился с Липой, старым бродягой, который когда-то учился в семинарии и помнил по слогам Евангелие. Липа оказался дьяконом, расстриженным за любовь к мальчикам и копчёной рыбе.

— Грамоте хочешь? — спросил Липа, пережёвывая краюху.

— Зачем мне грамота? — Арсюшка даже говорить боялся — так болело в груди.

— Затем, что умеющий читать и писать имеет ключ от двери, за которой нет замков. А не умеющий — всегда собака на цепи, даже если он хозяин.

— Ты вор, — сказал Арсюшка. — Какая у вора дверь?

— Я не вор, — Липа обиженно скривил губы. — Я падший. А падший — это человек, который упал, но может встать. Вор — это тот, кто с рождения ползёт. Ты, мальчик, упал. А встанешь ли — не знаю.

Липа учил его читать по старым «Правительственным вестникам», которые тащил из трактиров. Писал на обрывках обоев углём. Буква за буквой, слог за слогом. Арсюшка оказался понятливым — схватывал на лету, глотал знания, как голодный хлеб.

Через месяц он уже читал вывески аптек на Лиговском. Ещё через месяц — написал своё первое письмо: в Рижское частное сыскное агентство «Берг и сын». Письмо было корявым, безграмотным (продиктовал его Липа), но в нём десятилетний мальчик просил взять его «учеником в сыщики, потому что я знаю, как думает вор, потому что я сам почти стал вором, но хочу быть на другой стороне».

Ответ пришёл через три недели. На бланке с золотым тиснением. Старый Берг писал: «Приезжай. Если выдержишь экзамен — возьму».

Крест, узнав о планах, расхохотался.

— Ты? В сыщики? Да ты червяк. Тебя же при первой облаве укусят собственные.

— Укусят, — согласился Арсюшка, — но я их всех перекусаю. Потому что у них нет того, что есть у меня.

— И что же у тебя?

— Я знаю, как падать. И я никогда больше не упаду.

Он сбежал из Петербурга в товарном вагоне, под ворохом соломы, сжимая в кармане червонец — последний, что дал ему Липа перед смертью: старый дьякон замерз в начале декабря на чердаке, не дожив до Рождества двух недель.

Рига встретила его ветром с моря и запахом селёдки.

Агентство «Берг и сын» располагалось на улице Калькю, в трёхэтажном доме с вывеской, на которой был изображён пёс, нюхающий след. Контора была бедной, захламлённой — старые

папки, чёрный диван, на стене портрет Александра II с простреленной фигурой (заклеили, но дырка просвечивалась).

Старый Берг — шестидесятилетний эстонец с бачками и лицом, изъеденным оспой, — экзаменовал Арсюшку три часа.

— Скажи, мальчик, — спросил Берг, — зачем ты хочешь ловить воров, если сам был почти вором?

— Потому что я знаю, где вор споткнётся.

— Где же?

— На своей жадности. Вор всегда крадёт больше, чем ему нужно. А сыщик ищет именно то, что вору не нужно, но он его не заметил.

Берг помолчал. Потом повернулся к сыну — усатому верзиле по имени Пауль:

— Возьми его. Сначала будет мыть полы и чистить пепельницы. Но он уже мыслит, как наш человек.

Мытьё полов длилось полгода. Арсюшка драил паркет, подавал чай, бегал за папиросами, запоминал каждое слово, каждое движение сыщиков. Ночью, в каморке при конторе, он читал старые дела — о подделках, об убийствах, о кражах со взломом. Он выучил наизусть «Уложение о наказаниях» и «Устав уголовного судопроизводства».

Свой первый успех он одержал в тринадцать лет.

По Риге прошёл слух о серийном поджигателе. Горели склады, амбары, один раз — приют для престарелых. Каждый раз перед пожаром видели мальчика с корзиной — но никто не придавал значения. Берг и сын зашли в тупик.

Арсюшка предложил: «Дайте мне детское лицо и старую куртку. Я пойду просить милостыню у дверей подозреваемого».

— У кого? — удивился Берг.

— У лесопромышленника Тимме, чьи склады горели первыми. Страховку он получил, но потом пожары пошли дальше, и он сам испугался. Значит, не он поджигал. Но он знает, кто.

Арсюшка с неделю торчал у дома Тимме, изображая нищего, пока не заметил девушку лет семнадцати — горничную, которая каждый вечер выносила ему хлеб. Она была бледная, взволнованная, с красными глазами.

— Ты чего плачешь? — спросил Арсюшка.

— О... Господи, мальчик, уходи. Здесь злой человек живёт.

— Кто злой?

— Хозяин. Он... он меня по ночам... — она не договорила, закрыла лицо передником.

Арсюшка передал всё Бергу. Через три дня горничная созналась: она поджигала склады по приказу своего мучителя, который заставлял её делать это, а потом шантажировал — «если ты не подожжёшь следующий склад, я скажу полиции, что это ты начала».

Тимме арестовали. Слава о маленьком сыщике разнеслась по Риге. Берг, умирая от рака, успел сказать ему:

— Ты, Арсений, — не собака, а волк. Потому что волк умеет ждать и кусает только один раз. Запомни: в Петербурге тебя сожрут, если ты будешь слабым. Будь всегда на два шага впереди.

Девятнадцать лет. Варшава.

Сыскная полиция Царства Польского — отдельное пекло. Язык, обычаи, лабиринты старых домов, где в одной квартире живут семь человек, а в подвале прячут бомбы.

Барятинский — уже Арсений Владимирович, получивший паспорт по протекции рижского генерал-губернатора, — служит младшим околоточным, но делает работу за старших. Именно он нашёл «Ночного дровосека».

Этого маньяка боялись даже самые отпетые бандиты. Он убивал извозчиков на окраинах Варшавы — подходил сзади, ударял топором по голове, забирал выручку и исчезал. Полиция искала его три года. Барятинский нашёл за две недели.

Метод: он сам сел на козлы извозчика — переодевшись, с фальшивой бородой, с топором под сиденьем. Три ночи ждал на Васильковской улице. На четвёртую — услышал шаги. Шаги были мягкие, почти женские. Человек подошёл сзади, занёс топор.

Барятинский не стал ждать удара — он прыгнул вперёд, перекатился, схватил преступника за ноги. Они покатились по брусчатке. Дровосек оказался тощим мужичком лет сорока, который работал в городской бойне. Его звали Ян Ковальский.

— Зачем ты их убивал? — спросил Барятинский, заламывая ему руку за спину.

— Они все одинаковые, — тихо сказал Ковальский. — Едут и везут чужих. Никто и никого не знает. Я им показывал, что они не одни. Что есть я.

— Ты показывал им смерть.

— А жизнь хуже, пан сыщик. Вы ещё это узнаете.

Ковальского повесили. Барятинский получил чин и приглашение в Петербург.

Он вернулся в город, где когда-то валялся с переломанными рёбрами в луже, и стал надворным советником.

— Ваше благородие! Ваше благородие!

Голос выдернул его из прошлого.

Барятинский открыл глаза. Он всё так же сидел на корточках у стены дома № 37 по Лиговскому. Дождь усилился — шляпа промокла насквозь, в ботинках хлюпало. Перед ним стоял запыхавшийся городовой — тот самый, с повинной головой, что принёс кольцо.

— Что случилось?

— Господин Штольц велел вас найти. Экстренно. Вскрытие курьера показало: цианид был впрыснут шприцем в нёбо. Смерть через сорок секунд. Но это не главное.

— А что главное?

— В морге пропал труп.

Барятинский поднялся. Боль в пояснице — от неудобной позы, от сырости, от пятнадцати лет службы, которые давили на плечи чугунными пудовыми гирями.

— Как пропал?

— В шесть утра труп доставили. Вскрыл полицейский врач Груздев в семь. В половине восьмого он вышел покурить в коридор, вернулся — стола нет, трупа нет. Окно открыто, на подоконнике след ботинка.

— Идиоты, — сказал Барятинский беззлобно. — Идиоты конченые.

Он достал папиросу, наконец закурил, глубоко затянулся, чувствуя, как едкий дым прочищает лёгкие от запаха Лиговки.

— Срочно в морг, — приказал он. — И найдите мне жену.

— Какую жену, ваше благородие?

— Мою. Софью Гиршфельд-Барятинскую. Она фармацевт, работает в аптеке Григорьева на Невском. Я должен её допросить.

— То есть вы подозреваете собственную...

— Я ничего не подозреваю, — оборвал Барятинский. — Я просто хочу посмотреть ей в глаза. И спросить, где её кольцо.

Он бросил папиросу в лужу и зашагал по Лиговскому проспекту прочь — к Невскому, к аптеке, к той, которая была его самой большой удачей и, быть может, самой большой ошибкой.

По пути он думал об одном: он поднялся с самого дна. Он знал цену падениям и победам. Он пообещал себе никогда больше не быть жертвой. Но сейчас, когда в кармане лежало кольцо жены, найденное на лестнице убитого курьера, он почувствовал себя тем десятилетним Червяком — таким же маленьким, беспомощным и смертельно испуганным.

Разница была лишь в том, что тогда он боялся генеральского сапога.
А сейчас он боялся правды.

Глава 3. Платок на брусчатке.

Сенатская набережная в ноябре — место для самоубийц и министров. Разница между ними лишь в том, что первые прыгают в Неву, а вторые сидят в кабинетах с видом на неё, медленно топят себя в департаментских бумагах и казённом коньяке.

Департамент путей сообщения располагался в здании с колоннадой, напротив Медного всадника. Барятинский поднялся по широкой лестнице, минуя швейцаров, которые по одному взгляду на его котелок и потёртый портфель поняли: этот не для просьб о пособии. Этот — с обнажённым скальпелем в кармане.

Приёмная князя Феликса Ливена была выдержана в стиле «Людовик встречает николаевскую Россию»: лепнина на потолке, паркет из карельской берёзы, на стенах — карты железных дорог в золочёных рамах. Секретарь — молодой человек с выхолощенным лицом и запахом фиалкового одеколона — попытался было сказать, что князь не принимает без записи.

— Передайте его сиятельству, — Барятинский положил на стол визитную карточку, — что, если я не войду сейчас, через час его примут следователи по особо важным делам. Выбор за князем.

Через тридцать секунд двойные двери распахнулись.

Кабинет Ливена пах дорогой кожей, сигарами «Ромео и Джульетта» и сухими цветами в напольных вазах. Сам князь — мужчина лет пятидесяти пяти, с гладко выбритым лицом аристократа-скептика, с длинными холёными пальцами, унизанными перстнями, — сидел за столом красного дерева и не встал при входе.

— Надворный советник Барятинский, — произнёс он голосом, в котором вежливость скрипела, как несмазанная дверь. — Вы, кажется, служите в сыскной полиции? Забавно. Мой отец утверждал, что сыщики — это бывшие воры, которым удалось договориться с властями.

— Ваш отец был знаком с ворами? — спросил Барятинский, усаживаясь в кресло без приглашения. — Или это он так делился опытом?

Ливен побелел. Не от страха — от ярости, которую аристократическое воспитание требовало подавлять.

— Я не привык к панибратству с чиновниками из охранки.

— Я не из охранки. Я из сыскной полиции. Разница в том, что мы ловим преступников, а они — революционеров. А преступники, ваше сиятельство, часто сидят в кабинетах с видом на Неву и думают, что никто не догадается.

— Вы обвиняете меня?

— Пока что я задаю вопросы. Курьер вашего министерства Ефим Саенко убит вчера вечером на Надеждинской. Вы знали его?

— Лично? Нет. Из списков — возможно. Я не запоминаю лиц курьеров.

— А его маршрут вчерашний?

Ливен на секунду замер. Всего на секунду. Но Барятинский, который учился читать мимику в рижских подворотнях, заметил эту секунду, как волк замечает сбившийся дыхание зайца.

— Я не имею привычки следить за перемещениями моих подчинённых, — ответил князь, уже слишком гладко. — В департаменте для этого есть специальные люди.

— Специальные люди сказали, что Саенко вчера нёс дело особой важности. Бриллиант «Голубой Нил», предназначенный для императрицы. Кто знал о транспортировке?

— Четыре человека. Я, мой заместитель, начальник охраны и... — Ливен запнулся. — И ещё один.

— Кто?

— Это конфиденциальная информация. Ваш чин, надворный советник, не позволяет вам...

— Мой чин, ваше сиятельство, позволяет мне арестовать вас прямо сейчас по подозрению в халатности, приведшей к смерти государственного служащего. Хотите проверить?

В кабинете повисла тишина. Где-то за стеной пробили часы. Ливен медленно, очень медленно взял со стола серебряный портсигар, достал папиросу, закурил. Рука его не дрожала — что было дурным знаком: спокойствие бывает двух видов — от невиновности и от той уверенности, которую даёт опытный преступник, знающий, что его не тронут.

— Кроме нас четырёх, — сказал наконец князь, — о бриллианте знала одна особа. Женщина. Я был неосторожен и... упомянул об этом в неподобающей обстановке.

— В постели? — уточнил Барятинский.

— В приватной беседе, — поправил Ливен с ледяным достоинством. — Её зовут Мариэтта Павлова. Она актриса Малого театра. Вы её найдёте в театральном проезде, дом 11, квартира 7.

— Благодарю за содействие, — Барятинский встал. — Последний вопрос: вы когда-нибудь пользовались духами с ванилью?

На лице князя впервые за весь разговор мелькнуло что-то похожее на испуг. Всего на мгновение.

— Это... нелепый вопрос.

— Ответьте.

— Нет. Я пользуюсь одеколоном от Ревельона. Цитрусовые ноты.

— Понятно. До свидания, ваше сиятельство.

В дверях Барятинский обернулся.

— Если вы солгали мне хоть в одной мелочи, князь, я вытащу вас из этого кабинета так, что перстни не помогут ухватиться за дверные косяки.

Ливен ничего не ответил. Он смотрел в окно, на Медного всадника, и на его лице застыло выражение человека, который только что понял: он выпустил волка в свою овчарню.

«Выцветшая любовница» оказалась женщиной, которая сама себя превратила в акварельный рисунок — слишком бледная для губной помады, слишком худая для корсета, слишком молодая для той усталости, которая сквозила в каждом жесте.

Мариэтта Павлова, двадцати трёх лет, блондинка с пепельным отливом волос и глазами цвета зимней Невы, встретила Барятинского в халате, расшитом китайскими драконами. Квартира её была завалена шёлковыми подушками, французскими романами и пустыми флаконами из-под шампанского.

— Вы от Феликса? — спросила она, накидывая папиросу. — Скажите ему, чтобы прислал денег до пятницы. Иначе я приду на приём к губернатору в том же платье, что и в прошлый раз. Это произведёт фурор.

— Я не от Феликса. Я из сыскной полиции.

Мариэтта выронила папиросу на ковёр. Потушила туфелькой, но не сразу — сначала смотрела на Барятинского так, как смотрят на привидение в три часа ночи.

— Вы арестовали князя?

— Пока что — нет. Вы знали курьера по фамилии Саенко?

— Это который... который вчера... — она побледнела ещё сильнее, что казалось невозможным. — Я видела в газетах. Боже...

— Вы его знали?

— Нет! Я вообще не знаю никаких курьеров. Феликс иногда рассказывал о работе, но я не слушала. Мужчины так скучны, когда говорят о делах, правда?

Барятинский сел напротив неё, положил портфель на колени, открыл.

— Мариэтта Павлова, — спокойно сказал он, — курьера отравили цианидом. На месте преступления найден перочинный нож с гравировкой. Гравировка — две буквы: «М» и «П». Ваши инициалы. Хотите объяснить?

Он, конечно, блефовал. На ноже была неразборчивая гравировка, которую лаборатория ещё не расшифровала. Но актриса не могла этого знать.

Лицо Мариэтты превратилось в маску. Пару секунд она боролась с желанием выдать правду — и проиграла.

— Этот нож... я подарила его Феликсу на прошлое Рождество. Он носил его всегда. Говорил, что им удобно вскрывать конверты с докладами. Но откуда нож у курьера? Я не знаю. Клянусь, я ничего не знаю!

— Нож — у трупа. Кто ещё мог взять нож у князя?

— Любовницы у него нет — только я. Но у него есть секретарь Петровский. И камердинер Степан. И... — она запнулась, — и иногда приходит его брат.

— Брат?

— Владимир. Он не любит Феликса. Говорит, что Феликс промотал родовое состояние на бриллианты для таких, как я. А он, Владимир, вернёт былое величие.

— Где живёт Владимир Ливен?

— Я не знаю. Но он пахнет... странно.

— Чем же?

— Ванилью. Дешёвые духи, как у цыганок на окраине. Феликс над ним смеётся. А я... я почему-то боюсь Владимира. Он всегда тихий. А тихие — самые страшные.

Барятинский медленно кивнул. картина складывалась. Князь Феликс — болтливый аристократ, который ищет лёгких путей. Его брат Владимир — тихий заговорщик, пахнущий ванилью, который мог украсть нож, чтобы подставить брата или чтобы убить курьера. Актриса — пешка, которая не понимает, в какую партию её замешали.

— Спасибо, — сказал он. — Но, если вы солжёте или попытаетесь сбежать... вы понимаете?

— Я никуда не сбегу, — Мариэтта горько усмехнулась. — Куда бежать-то? От Феликса? От вас? От всех вас? Я заперта здесь, в этой красивой клетке, с этими дурацкими драконами на халате. Знаете, что самое страшное? Я даже не люблю Феликса. Я просто хотела быть нужной кому-то.

— Моя жена тоже так говорила, — тихо сказал Барятинский. — Берегите себя, мадам. Зло, с которым вы столкнулись, пахнет ванилью, но кусается как цианид.

Вечером Барятинский поехал на Толкучий рынок.

Не парадным подъездом — через чёрный ход, как учили на Лиговке. Гласмы — собрания столичных воров — проходили раз в месяц в подвале дома № 47 по Садовой, где заправлял старый вор в законе по кличке Лакей. Лакей когда-то был камердинером у графа Шереметева, украл бриллиантовую запонку, сел на каторгу, вышел — и стал главным человеком на всём Толкучем рынке.

Барятинский знал Лакея десять лет, и они относились друг к другу с тем странным уважением, какое возможно только между волком и ловчим.

— Садись, сыщик, — Лакей кивнул на табуретку. Ему было под семьдесят, но глаза смотрели молодо и зло. — Слышал про твоего курьера. Дело плохое.

— Что говорят на рынке?

— А то и говорят: заказ на «Голубой Нил» сделал не наш человек. Не вор. Кто-то из чистой публики. Платит хорошо — десять тысяч серебром.

— Кто именно?

— Незнакомец с седой бородой. Волосы крашеные, а борода седая — нестыковка. Пахнет дешёвой ванилью. Ходит с тростью, набалдашник серебряный, в виде волчьей головы. Люди

такого не знают. Он приходил на рынок один раз, говорил с Косым — помнишь Косого, который в прошлом году украл иконостас из Казанского собора?

— Косой в тюрьме.

— А его подручный — Чернец — на свободе. Чернец сказал, что седобородый просил найти исполнителя для ограбления специального поезда. Конкретно — вагона, где везут «Голубой Нил».

— Исполнителя нашли?

— Нашли. Но исполнитель вчера уехал из Петербурга. Внезапно. С большими деньгами.

— Сбежал?

— Или его убрали. Одно из двух.

Барятинский закурил, пустил дым в потолок подвала, где висели копчёные колбасы — прикрытие для торговли краденым.

— Мне нужна помощь.

— Лакей поднял бровь.

— Ты у нас всегда был гордым, Арсений. Никогда не просил.

— А сейчас прошу. Мне нужно подбросить кое-кому фальшивый бриллиант. Такой, чтобы он повёлся. И чтобы заказчик о нём узнал.

— Кому подбросить?

— Сутенёру по кличке Шкап. Он работает на Лиговке, держит трёх девушек. Через него седобородый может искать новых исполнителей. Шкап — болтун. Если я дам ему бриллиант и намёк, что его можно продать за большие деньги, Шкап сам побежит к заказчику.

— А почему ты думаешь, что заказчик клюнет?

— Потому что заказчик жадный. И нервный. Он убил курьера, но бриллианта не получил. Значит, он будет хвататься за любую возможность.

Лакей долго молчал. Потом хлопнул ладонью по столу.

— Ладно. Сделаем. Дай мне твой фальшивый камень.

Барятинский достал из кармана фианит — искусственный бриллиант, купленный в ювелирной лавке на Малой Садовой. С виду — точно, как «Голубой Нил», если не смотреть в лупу.

— Передашь Шкапу через свою девку Маньку-Железную. Скажешь, что камень из того же ограбления, но его не удалось сбыть. Пусть Шкап думает, что это лёгкие деньги.

— А что дальше?

— Дальше я установлю наблюдение за Шкапом. Куда он пойдёт, с кем встретится — и выйду на заказчика.

План был остроумный. Нестандартный. Рискованный. Но Барятинский не сомневался: седобородый клюнет.

Ошибка была только в одном. Он не знал, что седобородый уже знает о нём.

Операция началась в десять вечера.

Манька-Железная — женщина с лицом, изъеденным оспой, и стальными зубами (отсюда и кличка) — встретила Шкапа в трактире «Красный петух». Подсела к нему за столик, заказала водки, начала разговор ни о чём. Потом, как бы невзначай, показала из кошелька «бриллиант».

Шкап — толстый, лысый, с родимым пятном во всю щеку — чуть не подавился пирогом.

— Где взяла?

— С неба упало, — засмеялась Манька. — Хочешь купить? Пять тысяч.

— Ты рехнулась. Откуда у тебя пять тысяч?

— Есть люди, которые дали. Но камень настоящий, Федька меня крестиком крестил. Из того самого... из ограбления.

Вот тут Барятинский, сидевший в засаде в экипаже напротив, допустил самую главную ошибку.

Он не подумал, что Шкап — не просто сутенёр, а осведомитель самого седобородого.

Шкап кивнул, сделал вид, что заинтересован, заплатил за водку и вышел. Но пошёл не к седобородому — а к извозчику, который стоял у входа, и что-то быстро прошептал ему на ухо. Извозчик хлестнул лошадь и уехал.

— Чёрт, — выругался Барятинский. — Он его послал передать весть.

Через пятнадцать минут Шкап вышел из трактира уже с другим лицом — спокойным, почти весёлым. Он направился к пролётке, но сел не в неё, а застыл на тротуаре, будто кого-то ждал.

Потом из переулка показалась фигура.

Человек в длинном пальто с поднятым воротником, в котелке, с тростью. Борода седая, но брови чёрные. При свете фонаря блеснул набалдашник трости — волчья голова.

Барятинский сжал револьвер, но стрелять не собирался. Ему нужно было только проследить.

Седобородый приблизился к Шкапу, что-то сказал, сунул ему конверт. Шкап поклонился и ушёл. А седобородый... седобородый повернулся и пошёл прямо к экипажу, где прятался Барятинский.

— Этого не может быть, — прошептал сыщик.

Но могло.

Седобородый подошёл к экипажу, открыл дверцу и сел на сиденье напротив Барятинского.

— Добрый вечер, надворный советник, — произнёс он голосом, в котором не было ни страха, ни торжества. Только спокойствие хирурга, который знает, что пациент уже не жилец. — Вы искали меня? Я здесь.

Барятинский выхватил револьвер, направил в грудь незнакомца.

— Руки на стол. Вы арестованы.

— Не горячитесь, — седобородый улыбнулся. — У меня нет оружия. И я не тот, кого вы ищете. Я тот, кто поможет вам найти убийцу. Если, конечно, вы согласитесь играть по моим правилам.

— Мои правила таковы: выходите из экипажа и ложитесь лицом вниз. Или я стреляю.

— Стреляйте. Тогда вы никогда не узнаете, кто заказал «Голубой Нил». И кто убил вашего курьера. И, самое главное, — незнакомец наклонился вперёд, и запах ванили ударил в нос с утроенной силой, — зачем ваша жена была на лестнице в день убийства.

Барятинский опустил револьвер. На секунду. Всего на секунду.

Этого хватило.

Седобородый с неожиданной силой ударил тростью по руке — револьвер вылетел. Вторым ударом, наотмашь, он разбил фонарь в экипаже. Наступила темнота. В темноте Барятинский услышал, как открывается дверца, и чьи-то шаги зашлёпали по брусчатке.

Он выскочил следом, выхватил вторым револьвером (всегда носил два), но улица была пуста. Седобородый исчез — как сквозь землю провалился.

И только на сиденье экипажа остался небольшой предмет, которого раньше не было.

Барятинский взял его дрожащими пальцами.

Носовой платок. Женский, батистовый, с вышитыми инициалами «С.Б.» — Софья Барятинская.

Весь в крови. Ещё тёплой.

— Соня, — одними губами прошептал Арсений. — Что он с тобой сделал?

Он ворвался в квартиру на Каменноостровском в первом часу ночи.

Соня сидела на кровати с книгой в руках — «Тереза Ракен» Золя, французское издание. При виде мужа она радостно улыбнулась, но улыбка тут же угасла.

— Арсений, что случилось? Ты бледнее смерти.

— Где твоё кольцо? — спросил он голосом, которого сам не узнал.

— Кольцо? Ты про то, с аметистом? Я...

— Отвечай!

— Я его потеряла, — она растерялась. — Вчера, когда ходила в аптеку. Наверное, соскочило с пальца. Я искала, но не нашла. Арсений, ради Бога, что произошло?

— Ты была на Надеждинской вчера?

— На Надеждинской? Зачем? Я была в аптеке, потом заходила к маме на Гороховую, потом...

— Не лги мне! — заорал он, швырнув кровавый платок на кровать. — Это твой платок? Твои инициалы?

Соня посмотрела на платок. Потом на мужа.

— Нет, — тихо сказала она. — У меня нет таких платков. Мои инициалы — «С.Г.», а не «С.Б.». Вспомни: Гиршфельд — моя девичья фамилия. Я не меняла их на твои. Ты сам говорил, что так безопаснее, из-за моего прошлого. «С.Б.» — это Софья Барятинская. Но у меня никогда не было вещей с этими инициалами.

Барятинский замер.

Она была права. Он сам настоял, чтобы она не брала его фамилию публично — из-за её подпольного прошлого, из страха, что враги найдут её через документы.

— Тогда чья это вещь? — спросил он, садясь на край кровати.

— Не знаю, — Соня подошла к нему, обняла за плечи. — Но кровь... чья эта кровь?

— Я не знаю. Но я найду того, кто подбросил мне этот платок. И когда найду...

Он не договорил. Потому что в этот момент в окно постучали. Резко, прямо по стеклу.

Барятинский подбежал, отдёрнул штору.

На карнизе сидел ворон. Чёрный, большой, с серебряным кольцом на лапе. В клюве он держал записку.

Сыщик открыл окно, взял записку. Ворон улетел.

На клочке бумаги было написано каллиграфическим почерком одно предложение:

«Если хочешь увидеть жену живой, откажись от дела о „Голубом Ниле“ до полудня завтрашнего дня. Иначе платок будет не единственным, что ты получишь с кровью».

Барятинский повернулся к постели.

Соня стояла на том же месте — живая, целая, с книгой в руке.

— Это угроза, — сказала она. — Он угрожает убить меня.

— Он не убьёт, — твёрдо сказал Барятинский. — Потому что до полудня завтрашнего дня я найду его и застрелю как бешеную собаку.

— Как?

— Старым способом, — он достал папиросу, закурил прямо в спальне, выпустил дым в приоткрытое окно. — Пусть думает, что запугал меня. Пусть думает, что я отступлю. А я буду искать по запаху ванили, по следам воров на Толкучем, по этой дурацкой волчьей трости. И когда найду — спрошу его, зачем он впутал в это тебя.

Соня положила голову ему на плечо.

— Я боюсь, Арсений.

— Не бойся. Помнишь, что я говорил на свадьбе?

— Ты говорил: «Пока я жив, с тобой ничего не случится».

— Вот видишь. А я пока жив.

Но сам он в эту ночь не спал. Сидел в кресле у окна, с револьвером на коленях, и слушал, как стучат капли ноябрьского дождя по стеклу. И в каждом стуке ему слышалась ванильная поступь седобородого, который был на шаг впереди — всегда на шаг впереди.

План провалился. Но война только начиналась.

Глава 4. Волчья свора.

Здание Сыскной полиции на Офицерской улице, дом 29, входило в число тех петербургских строений, которые специально строили уродливыми — чтобы граждане знали: здесь не красота, здесь закон.

Серый гранит, узкие окна с решётками, тяжёлые дубовые двери с коваными петлями, чугунные ступени, стёртые тысячами ног преступников, свидетелей и сыщиков. Внутри пахло карболкой, старыми папками и тем особым запахом канцелярского клея, который не выветривается десятилетиями.

Барятинский появился здесь в восемь утра — на два часа раньше обычного. Глаза красные, небритый, в шинели, которую он не снимал со вчерашнего вечера. В одной руке — портфель, в другой — смятая пачка «Беломора», в кармане — окровавленный платок, запаянный в конверт для улик.

Швейцар Филипп — старый солдат с седыми усами, торчащими как штыки, — при виде его покачал головой. Филипп служил здесь двадцать пять лет и помнил трёх начальников, двух самоубийц и одного сыщика, которого убили в собственной постели. Барятинского он уважал — за то, что тот никогда не бил городовых и помнил имена их жён.

— Плохо спится, ваше благородие, — скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс Филипп.

— Хорошо спится тем, кто не знает правды, Филипп.

— Тогда я сплю отлично, — усмехнулся швейцар. — Заходите. Полковник Зубатов уже тут. Злой, как чёрт.

— Когда он не злой?

— Он никогда не злой. Он всегда спокоен. А сегодня он злой. Оттого и страшно.

Барятинский кивнул и шагнул в коридор.

Узкий коридор первого этажа был увешан фотографиями пойманных преступников. Десятки, сотни лиц: мрачные, наглые, испуганные, равнодушные. Под каждой — номер дела и дата поимки. Барятинский ленивым взглядом пробежал по ним, остановился на одной: «Коновалов И.С., по кличке Коновал, серийный убийца проституток на Лиговском проспекте. Пойман надворным советником Барятинским А.В. 15 мая 1909 года».

На фото Коновал выглядел как типичный петербургский чиновник: очки, бородка клинышком, лысина. Он вырезал у своих жертв внутренние органы и хранил их в спиртовых банках, составляя коллекцию. Барятинский поймал его, когда заметил, что у одного из трупов отсутствует левая бровь — слишком ровный срез, как бритвой. Коновал оказался парикмахером.

— Смотрю на своё прошлое? — раздался голос за спиной.

Барятинский обернулся. В дверях оперативной комнаты стоял титулярный советник Николай Панфилов — его самый близкий друг и единственный человек в сыскной полиции, которому Барятинский доверял как себе.

Панфилов был полной противоположностью Арсения: невысокий, коренастый, с круглым добродушным лицом и рыжими бакенбардами. Он выглядел как трактирщик из провинции, но за этой внешностью скрывался умнейший аналитик и криптограф — человек, который мог расшифровать любую тайнопись и найти нужную бумагу в завале дел за пять минут.

— Другое, — ответил Барятинский. — О настоящем.

— Я слышал про твоего курьера, — Панфилов понизил голос. — И про кольцо. И про платок. Мне вчера вечером доложили.

— Кто доложил?

— А ты думал, у тебя одни враги? — Панфилов взял его под руку и повёл в конец коридора, подальше от ушей. — Верещагин был в морге сегодня ночью. Он видел, откуда унесли труп.

— Откуда?

— Из окна на первый этаж. Кто-то изнутри открыл задвижку. Следов взлома нет. Значит, у врача Груздева есть ключи.

— Груздев? Тот, что проводил вскрытие?

— Он самый. У него долги в карты. И сестра работает в аптеке Григорьева — там же, где твоя жена.

Барятинский остановился, прислонился к стене, закрыл глаза.

— То есть моя жена — в центре этого дела. Даже если она не виновата, на неё укажут. А Груздеву заплатили, чтобы он отдал труп.

— Или чтобы он сделал ложное заключение о яде, — добавил Панфилов. — Но это потом. Сначала — оперативка. Полковник ждёт.

— Он знает?

— Пока нет. Я сказал только про кольцо. Про платок — молчок.

— Спасибо, Коля.

— Не благодари. Лучше скажи, что ты собираешься делать.

Барятинский открыл глаза. В них была сталь.

— Играть в поддавки. Пусть думают, что я отступил. А сам буду бить по тем, кто слабее.

— Это кто же?

— Князь Ливен. Актриса. Шкап. И этот, — он постучал по карману, где лежал запаянный платок, — вонючий седобородый.

Оперативная комната представляла собой длинное помещение с низким потолком и тремя рядами столов. Здесь всегда стоял особый шум — шелест бумаг, скрип перьев, покашливания, звяканье чайных ложек о стаканы. Курили прямо за столом — начальство не запрещало, потому что иначе сыщики курили бы в сортире, а оттуда табачный дым уже не выкурить.

Людей в комнате было человек пятнадцать. Разные: молодые щёголи из университетов, отставные военные с повадками полковых командиров, один бывший купец (специалист по подделкам векселей), даже бывший вор-медвежатник, которого перевербовали и дали форму.

Все они подняли головы, когда Барятинский вошёл. Он был здесь фигурой особой — не по чину (Панфилов, например, был того же ранга), а по репутации. Каждый из этих людей слышал хотя бы одну историю о Барятинском: как он взял «Ночного дровосека», как выследил Коновала, как на гласме у Лакея чуть не зарезали, а он отбился одним перочинным ножом.

— Господа, — Барятинский сел на своё место (второй стол от окна, третий ряд), — у нас проблема.

— У нас их каждый день два десятка, — отозвался с первого стола Алексей Верещагин, коллега по рангу, коренастый мужик с лицом, похожим на кулак. Верещагин был специалистом по уличной слежке — умел сливаться с толпой так, что его не замечали даже опытные преступники.

— Сегодня их будет двадцать один, — ответил Барятинский. — Кто был на Малой Садовой вчера вечером?

— Я был, — поднял руку молодой сыщик Борис Шаховской, дворянин из обедневшего рода, который пошёл в полицию от отчаяния. Ему было двадцать два, он краснел каждый раз, когда Барятинский с ним заговаривал, и мечтал стать таким же знаменитым сыщиком.

— Что видел?

— Ничего, ваше... — поправился, — Арсений Владимирович. В девять вечера трактир «Красный петух» работал как обычно. В десять началось какое-то движение. Вы вышли из экипажа, потом кто-то выбежал из переулка...

— Описывай.

— Человек в высоком росте, в пальто с бобровым воротником. Он перебежал дорогу и свернул на Сенную. Я попытался догнать, но он скрылся. Следы потерялись у колодца — там стройка, много следов.

— А ты, — Барятинский повернулся к Григорию Успенскому, тощему бледному мужчине лет сорока, — ты что делал на Сенной?

Успенский вздрогнул. Он был агентом наружного наблюдения, и его работа заключалась в том, чтобы сидеть в чайных и записывать, кто с кем встречается. Барятинский всегда относился к нему с подозрением — слишком гладкие у него были доклады, словно кто-то правил их заранее.

— Я.. я проверял информацию по делу о подделке ассигнаций, — замялся Успенский.

— В десять вечера?

— Я работаю в любое время, Арсений Владимирович.

— Это я заметил. Слишком любое.

В комнате повисла напряжённая тишина. Успенский побледнел, но промолчал.

Панфилов кашлянул, разряжая обстановку:

— Арсений, давайте по делу. У нас есть три основных направления: князь Ливен, его брат Владимир и неизвестный с седой бородой. Плюс возможная связь с Груздевым из морга. Кто за что берётся?

Барятинский встал, подошёл к висевшей на стене карте Петербурга, на которой булавками были отмечены места преступлений за последний месяц. Он снял три булавки, положил в карман.

— Ливена беру я. Его брата — ты, Коля. Верещагин — идёт в морг к Груздеву, пусть поболтает с ним по-дружески, узнает про долги и сестру. Шаховской — сидит на Шкапе, но теперь осторожно. Шкап — не дурак, он нас уже один раз провёл.

— А седобородый? — спросил Панфилов. — Кто им займётся?

— Седобородый — моя забота. И моя больная голова. — Барятинский потёр переносицу. — Но для этого мне нужно кое-что выяснить у одной... особы.

Он не сказал, у какой. Но все знали. Разговоры о жене Барятинского ходили по департаменту с самого их бракосочетания.

В половине десятого Барятинского вызвал к себе начальник.

Кабинет полковника Ивана Николаевича Зубатова находился на втором этаже, в самом конце коридора. Это была просторная комната в стиле ампир: дубовый стол, на столе — портрет государя, слева — бронзовый бюст Петра I, справа — чернильница в виде орла. Сам Зубатов — высокий, прямой, с сединой в тёмных волосах и усами, закрученными вниз, — походил на генерала из старой гвардии.

— Садитесь, Барятинский, — сказал он, не поднимая головы от бумаг.

Барятинский сел. Ждал.

Зубатов всегда так делал: заставлял ждать, чтобы ты начал нервничать. Но Барятинский знал этот приём ещё по Риге, и единственное, что он умел в такие минуты, — молчать и смотреть на бюст Петра, стараясь вспомнить, что тот заказывал на обед в день основания Петербурга. Враньё, конечно, но отвлекало.

— Читал ваш рапорт, — наконец произнёс полковник. — О деле «Голубой Нил». Знаете, что мне показалось странным?

— Не странным, а подозрительным, — поправил Барятинский. — Странности бывают у дам в театре. У нас — улики.

Зубатов поднял голову. Глаза у него были светлые, почти бесцветные, и они не выражали ничего. Такие глаза бывают у палачей и у людей, которые пережили слишком много смертей.

— Хорошо. Подозрительным. Мне показалась подозрительной ваша поспешность. Вы обвинили князя Ливена? Он позвонил губернатору. Губернатор — мне. Я — вам.

— Я не обвинял его, Иван Николаевич. Я задавал вопросы.

— Вы сказали ему, что вытащите его из кабинета за воротник. Мои слова?

— Почти. Я сказал — за дверные косяки.

— Разница несущественная. Ливен — директор департамента. Человек, близкий ко двору. Вы — надворный советник с репутацией выскочки, картёжника и дуэлянта. Угадайте, кому из вас двоих государь поверит больше?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.